Яков Минченков

Меценаты искусства и коллекционеры

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…У передвижников был свой небольшой круг меценатов и коллекционеров, которые ежегодно расходовали почти одну и ту же сумму на приобретение картин на выставках. Кроме того, являлись случайные лица, изредка покупавшие небольшие вещи и исчезавшие потом с горизонта.

Одни из коллекционеров приобретали картины в свои собрания для своего лишь удовольствия, а некоторые ставили себе задачей поддержать народившееся национальное искусство передвижников, его направление, вместе с некоторой заботой и о бытовых условиях художника, о его материальном благополучии. Этим самым такие коллекционеры переходили на роль меценатов искусства…»

- Яков Данилович Минченков
  -
  - Примечания

Яков Данилович Минченков Меценаты искусства и коллекционеры

Материальное положение художников и, следовательно, возможность работать по искусству зависели прежде всего от сбыта картин и получения за них необходимого прожиточного минимума.

У передвижников был свой небольшой круг меценатов и коллекционеров, которые ежегодно расходовали почти одну и ту же сумму на приобретение картин на выставках. Кроме того, являлись случайные лица, изредка покупавшие небольшие вещи и исчезавшие потом с горизонта.

Одни из коллекционеров приобретали картины в свои собрания для своего лишь удовольствия, а некоторые ставили себе задачей поддержать народившееся национальное искусство передвижников, его направление, вместе с некоторой заботой и о бытовых условиях художника, о его материальном благополучии. Этим самым такие коллекционеры переходили на роль меценатов искусства.

Покровительство искусству исходило и из официальных сфер, от двора – через Академию художеств и музеи. Двором отпускалось ежегодно пятнадцать тысяч рублей на приобретение картин для музеев. Из членов Академии художеств создавалась комиссия, которая тратила эту сумму по назначению.

Меценатом являлся сам царь. Народившееся национальное искусство ему желательно было использовать при проведении общей политики, для укрепления идей самодержавия и православия.

Передвижники заказов от двора с его установкой на искусство не принимали. Напрасно Александр III старался подкупить передвижников, предлагая им постройку выставочного здания у Исаакия – с двуглавым орлом и титулом «императорское».

Охраняя свою самостоятельность и независимость, передвижники отказались от подарка и выполняли прежнее постановление – не вступать на царскую службу. Когда же в силу условий, создавшихся в кругу искусства, явилась необходимость войти в Академию художеств и передвижникам, общее собрание Товарищества передвижников дало на это разрешение своим членам с условием, чтобы они не участвовали на академических

выставках и сохраняли неразрывную связь с Товариществом.

Передвижники – профессора Академии, получая по службе чины и ордена, не признавали их и никогда не носили ни формы, ни орденов, ни каких-либо значков, которые выделяли бы их из общего круга художников.

Царю приходилось приобретать на передвижных выставках то, что было свободно выполнено художниками, насколько последние могли свободно выражать себя при классовом воздействии на искусство.

Александр III покупал для себя и для музеев произведения часто большого значения и большой стоимости, вещи, мимо которых просто нельзя было пройти, не заметив их значимости. Из приобретений Александра III составился, как известно, музей, носивший его имя.

На первой неделе поста царь говел, в субботу причащался и после завтрака с семьей ехал на передвижную выставку, накануне ее открытия для публики. Здесь он беседовал с художниками и приобретал их вещи.

Николай II по примеру своего родителя вначале ввел тот же порядок в посещении передвижной выставки и также приезжал на первой неделе, но потом начал путать, забывать про выставку; во время империалистической войны он совсем смешал выставки и, попав на весеннюю академическую, думал, что находится на передвижной. Объясняли это тем, что он был в это время в невменяемом состоянии. Выставки вообще посещал он, видимо, только из подражания родителю, не проявляя к ним интереса и совершенно не разбираясь в произведениях искусств. Приобретал только то, на что указывал ему сопровождавший его на выставках князь Владимир.

Его меценатство сводилось к нулю.

Из придворных, даже очень состоятельных, почти никто картин не приобретал; покупателями изредка и на небольшую сумму являлись некоторые министры.

Крупных меценатов и коллекционеров в Петербурге почти не было. Значительным коллекционером являлся банкир Н. А. Смирнов, собиравший художественные произведения с целью устроить свою галерею и передать ее городу.

В Петербурге было императорское Общество поощрения художеств. Поощрение заключалось в том, что Общество содержало при себе школу рисования и устраивало конкурс по живописи для молодых художников, на котором присуждались денежные премии. Президентом Общества после писателя Григоровича состоял известный богач Нечаев-Мальцев, который лично никакого поощрения искусству не оказывал.

Роль его сводилась к утверждению смет по расходам Общества и к заботам о награждении служителей Общества – швейцаров и вахтеров – золотыми медалями за беспорочную службу. И действительно, при параде служители представляли из себя целый ходячий золоченый иконостас.

Сам Нечаев-Мальцев был в генеральском чине по коммерческой линии, его величали «ваше превосходительство». В парадных случаях носил под фраком через плечо красно-малиновую орденскую ленту и лицо имел такого же малинового цвета. Про него говорили, что он умер до своей смерти, разложившись при жизни. Оно и понятно, потому что есть и пить так, как он это делал, нельзя безнаказанно, и расплата рано или поздно должна была наступить.

Дворянство из-за своего обеднения, так же как и придворная и чиновная знать, слабо реагировало на искусство, требовавшее значительных затрат. Роль мецената и коллекционера перешла в руки торгово-промышленного класса – с его ростом и накоплением богатств.

Покупателями картин и основателями частных галерей становились купцы – главным образом выходцы из народа, коренные москвичи.

Старый купец и фабрикант, промышленник, пришедший чуть ли не в лаптях из деревни, сметкой, трудом и всяческими позволенными и непозволенными средствами скопивший капиталец и пустивший его на широкое торгово-промышленное поле, становился богачом и имел возможность удовлетворять свои прихоти, самодурство и свои духовные запросы. У кого какая была натура и какие потребности.

Некоторые, сознавая свою греховность, старались замолить ее. Строили церкви, вносили большие вклады в монастыри, любили громоподобных протодиаконов и колокола, состояли церковными старостами в своих приходах. Другие проявляли себя в диком сумасбродстве, кутежах. А в иных пробуждались эстетические потребности, и их тянуло в театры, к музыке, к приобретению картин. Часто малограмотные, они обожали науку, открывали типографии, литографии и занимались издательским делом.

Искусство передвижников было понятно для купца – любителя живописи своей реальной передачей русского быта и русской природы. И темы народнические были близки сердцу выходца из народа. При желании иметь у себя художественные произведения, ему оставалось только раскошелиться на них. Туговато, но и на это шел купец. Торговался до упаду, оттягивая

сроки платежа, но все же не мог отказать себе в удовольствии видеть на своих стенах вещь, которая ему понравилась на выставке.

Во главе московских коллекционеров стоял меценат искусства П. М. Третьяков, роль и значение которого в истории русской живописи достаточно выяснены и известны обществу. Можно сказать, что в его время художники-передвижники работали, а он оплачивал их труд. Ни одна картина, имевшая ценность для тогдашнего времени, не оставалась на руках художника, но попадала в галерею Третьякова. Третьяков следил за работой художников и приобретал их вещи часто до выставки, на дому.

В среде передвижников он был своим человеком. Репин вспоминал его посещения: приедет, войдет в комнату, достанет носовой платок, вытрет усы и бороду и расцелуется с хозяином. А потом начнет внимательно и, главное, – серьезно, с отношением к картине, как к великому делу, – осматривать, что сделал художник.

Не лишен он был и купеческой жилки – торговаться за вещи, которые казались ему оцененными дорого. Торговался крепко. Дубовской рассказывал такой случай: поставил он на выставку пейзаж и назначил за него 600 рублей. Третьяков дает 550 рублей. Дубовской отвечает, что он ничего не уступит, так как назначил, по его мнению, минимальную цену. Третьяков убеждает Дубовского уступить 50 рублей ради того, чтобы картина попала в галерею. Дубовской тоже убедительно говорит, что ему весьма лестно попасть в галерею, но уступки он делать не может. Обиженный Третьяков уезжает, а на следующий день снова является на выставку и снова просит об уступке. Дубовской опять не соглашается, Третьяков уезжает ни с чем. И такой торг идет в продолжение четырех дней.

На пятый день Третьяков говорит Дубовскому:

– Послушайте, что вы со мной делаете? Ведь вы меня разоряете: мне надо было три дня тому назад выехать в Париж, а я из-за вас сижу в Москве и несу большие убытки.

И довел-таки Дубовского до того, что тот сдался. Тогда Третьяков бросился целоваться и благодарить.

Когда передвижники шли за гробом Третьякова, вспоминал Репин, все молчали. Не было лишних слов. Все глубоко сознавали, что от них ушел верный помощник, дававший своей материальной поддержкой возможность вести работу по искусству.

После смерти Павла Михайловича комиссия Третьяковской галереи, задавшись целью пополнять галерею произведениями,

характеризующими новые течения искусства, у передвижников приобретала редко.

Боткина и Солдатенкова при мне уже не было, и в их коллекции ничего не приобреталось.

Значительным коллекционером, составившим в Москве свою галерею, был Цветков Иван Евмениевич. Хотя он был не купцом, а человеком с высшим образованием и служил в Земельном банке, но характер его был чисто купеческого склада. Даже сама фигура его, походка, речь увязывались с его пониманием искусства.

Грузная фигура, тяжелая медленная поступь. Лицо мрачно нахмуренное или брезгливо искривленное. Вещи он признавал только ясно определившихся мастеров, с содержанием, с живописью, доходящей до натурализма. Приобретаемые им картины казались такими же тяжелыми, как и он сам.

Облюбует вещь, внесет за нее маленький задаток, чтобы она значилась за ним, и за дымящей сигарой чувствует себя счастливым обладателем. Подойдет к картине, похлопает по ней рукой и скажет самодовольно:

– Вот она, голубушка! Собственность! Сосватал, изволите ли видеть! Дороговато, да что поделаешь – для галерейки надобность.

У него спрашивали:

– Почему вы приобрели эту картину? Находите ее хорошей?

Цветков отвечал:

– Для меня она хороша. Это, изволите ли видеть, как жениху невеста: сватают ему девицу, достойную во всех отношениях, а ему вот, изволите ли видеть, понравилась другая, не столь прекрасная. Так вот и я – покупаю то, что мне нравится.

Цветкова и прозвали словами «изволите ли видеть» за частое их повторение.

Дом Цветкова в русском стиле, дородный и тяжелый, олицетворял своего хозяина. Когда вы входили в вестибюль, навстречу появлялся сам Иван Евмениевич и ожидал вас на площадке лестницы, ведущей во второй этаж. На нем бархатный халат, вроде боярского, а на голове расшитая золотом тюбетейка. Совсем Борис Годунов.

Вечером хозяин зажигал электрический свет в люстрах второго этажа, показывал гостю свою галерею и давал объяснения. У него была хорошая память, и он знал всю родословную каждого художника, начиная с петровского времени. Знал – что называется – кто когда родился, крестился, женился и умер. О некоторых художниках так буквально и говорил:

– Это он писал, изволите ли видеть, со своей первой жены, а вот этот женский портрет, когда овдовел, и эта особа была его

невестой.

Или:

– Обратите внимание, что картина помечена 1832-м годом, значит, она написана ровно через год как автор окончил Академию и оставался в России до поездки в Италию.

Потом в своем кабинете усаживал гостя в кресло, ставил перед ним низенький столик и совсем уже обрекал его на усыпление.

У Цветкова были огромнейшие альбомы с рисунками. Он поочередно вынимал их из шкапа, клал перед гостем и, медленно перелистывая страницы, разъяснял:

– Рисунок Перова 1868 года, а вот такой же точно рисунок на ту же тему, нарисованный в 1871 году, но вместе с тем в них есть некоторая разница; такая же разница есть и в рисунках Прянишникова, которые я покажу вам, когда просмотрим этот альбом.

Перед глазами гостя перевертывались десятки, сотни страниц, мелькало бесчисленное множество рисунков, в которых он не мог уже разобраться; в глазах рябило, а хозяин продолжал свое:

– Этот рисунок хотя и без подписи, но вы поймете, что он Федотова, когда, изволите ли видеть, ознакомитесь со следующим альбомом.

Гость доходил до одурения и, как сквозь сон, слышал:

– А это, изволите ли видеть, рисунки, имеющие непосредственную связь с такими же работами художника, собранными в дальнейших альбомах…

Кабинет с рисунками стал, наконец, пугалом для посетителей Цветковского дома, и они всячески старались его избежать, несмотря на настойчивые приглашения хозяина.

Будучи гласным Московской городской думы, Цветков одно время, после смерти Третьякова, состоял в комиссии по приобретению картин для Третьяковской галереи. В комиссии участвовали еще художники Серов и Остроухов. С ними Цветков постоянно расходился в оценке картин. Доходило даже до ссор, особенно с Остроуховым, о котором, уже и выйдя из комиссии, Цветков слышать не мог, называя его Ильей Непутевым.

Был на одной из выставок портрет Менделеева работы Репина. Портрет хороший. Осмотрели его Серов и Остроухов, но не оставили сразу для галереи. Пришел Цветков и сейчас же внес задаток, чтобы портрет считался за ним. По обыкновению, побарабанил по портрету пальцами со словами:

– Хорош, что и говорить! Собственность!

Приезжают потом снова Серов и Остроухов и видят, что

портрет приобретен Цветковым; просят его через меня уступить портрет для Третьяковской галереи.

Иван Евмениевич сидит, откинувшись на стуле, выпучив живот, на котором блестит толстая золотая цепочка с ключом от часов, и, пыхтя, пускает дым от сигары.

– Это что же? Илья Непутевый надумал, чтоб я ему уступил портрет? – и лицо его принимает выражение, как будто кругом все протухло и отвратительно пахнет. – Комиссия, изволите ли видеть! Нюхала и пронюхала такой портрет! А теперь – уступите! Нет, батенька, в свою галерею пригодится, а комиссия – вот-с! – и показал кукиш.

Как ни интересовался Иван Евмениевич искусством, какое бы внимание не уделял художникам, биографиям и мелочам их жизни – все же художник поддержки от него не мог ожидать никакой, особенно из молодых, хотя бы и талантливый. Он признавал только установившееся в его время направление в искусстве и ничего нового предугадать не мог. К молодым силам относился полупрезрительно и не церемонился по отношению к ним в выражениях.

Один раз задумал он купить картину у молодого талантливого художника, но предложил страшно низкую цену, на которую тот не согласился.

Цветков на это говорил другим:

– Небось, как жрать нечего будет, отдаст и за эти деньги.

Да, тяжеловат был меценат искусства Иван Евмениевич Цветков – «Изволите ли видеть».

Типичным коллекционером из мелкого купечества был Воробьев, торговавший обувью. Он не обладал большим капиталом, но из любви к живописи тратил на нее все свои прибыли. Только откроется выставка – он уже там. Озираясь, точно из боязни быть пойманным на каком-то неблаговидном деле, он перебегал от одной вещи к другой, справлялся о ценах и тяжело вздыхал, когда картина была ему не под силу. Выбирал другую и сиял от радости, если покупка нравящейся ему картины удавалась.

Аккуратнейшим образом расплачивался за свои приобретения и сам приезжал за ними в день закрытия выставки. Привозил с собой простыню, веревки, все тщательно упаковывал и увозил, как святыню. Он не имел своего дома, но все комнаты его квартиры были увешаны картинами. Придя домой, он усаживался перед ними и (по его выражению) беседовал с ними. Очевидно, искусство давало ему сильные переживания. Это был настоящий эстет. Получая от искусства здоровую пищу, он не

предавался обычным затеям людей его среды. Жаловался на своего компаньона по торговле.

– Подумайте: что ни праздник, он в Яру или другом вертепе. Ну, конечно, вино, цыгане и все прочее. Да еще первопуток справляет. Первый снег только забелит улицу – он сейчас же нанимает тройку и на санях с компанией летит к Яру. Сани, конечно, изобьет по камням, приходится за все расплачиваться, зато прокатился по первой пороше. А у меня вот – радость в картинах, да еще абонемент имею в оперу.

Таких, как Воробьев, было в Москве несколько. В большинстве это были старики, народ малообразованный, но любящий и ценящий искусство. А вот их дети, получившие даже высшее образование, не все отличались большой чуткостью к искусству. Часто их приобретения на выставках носили характер прихоти, траты денег от избытка. Таковы были братья Морозовы. Они являлись на выставку, иногда вдвоем или втроем, приобретали вещи, а некоторое время спустя, при расплате, забывали даже, кто из них и что купил. Сперва они приобретали картины на передвижной выставке, потом искусство передвижников им надоело, и они стали собирать произведения новых течений, а картины передвижников выбросили из своих собраний. Дальше они перешли на иностранных художников, меняя свои взгляды и вкусы на искусство, как моду на костюмы.

Характерной фигурой коллекционера – любителя живописи из старого купеческого круга являлся москвич Свешников Иван Петрович.

Высокого роста благообразный старик с длинной седой бородой и седыми прядями на голове. Глаза испытующие, зоркие, левый лукаво прищурен. При легком волнении у него начиналось подергивание мускулов левой щеки и перекашивался рот.

Состояние Свешников имел, вероятно, большое. У него был огромный меховой магазин, вел он где-то и лесные операции. Образования не имел почти никакого, с трудом писал письма, что не помешало ему завоевать себе положение в кругу капиталистов.

Старик любил деньгу и с большой неохотой с ней расставался, но любовь к искусству заставляла его приносить эту жертву, и он приобретал ежегодно доступные для его понимания вещи. «Не знаю, как впутался в это дело, – говорил Свешников, – а только люблю художество. Именно сказать – душу в нем отвожу. Ведь вот есть же такие люди, что все высматривают и все доподлинно изображают. И сам свою душу, как на ладони, видишь через их картины. Чем сам любовался на природе да

скорбел на людях, и в картине то подмечаешь. Истинное слово. Вот только что дороговато». И он пускался на все, чтобы выторговать, сколько можно. Покупая вещь, он корил ее, доказывал, что она не стоит назначенной цены, выражаясь в таком роде:

– Ну что же, действительно, я не говорю, чтобы она очень плоха, но и не казиста же! Так только – наполовину. Ну и пусть цена будет божеская, а то вишь сколько!

– Если она вам не нравится, то зачем вы ее и покупаете, – говорили ему, – а если нравится – значит, признаете ее за хорошую, а потому и заплатить должны дороже.

Свешников на это хитрил:

– Это уже я так, чтоб парочкой к другой заодно подвесить, а то и не глядел бы на нее.

К художникам, однако, относился с уважением, никогда у него не было к ним пренебрежительного тона; больших мастеров особенно чтил, именуя их мужами.

– Великие мужи Репин, Суриков, Поленов и другие достойные чести художники, просветители и усладители душ наших, – говаривал Свешников.

Но когда, после долгих переговоров об уступках, приобретал он картину, это не означало конца дела. Надо было получить с него деньги, а это не так легко удавалось. Свешников не оставлял даже задатка за картины, требовал к себе полного доверия.

– Мое слово крепко, – говорил он, – ударили по рукам, значит, так тому и быть. Ни художник меня не подведет, коли он художник вправду, ни я его не надую, потому что уважаю его дар и свое слово. Ну, а торговаться перед куплей до смерти буду.

Он старался всеми средствами оттянуть уплату за приобретенные вещи – ведь на эти деньги еще могли бы нарасти в банке проценты.

Купил он однажды на довольно большую сумму картин у разных художников, ходил к нему наш артельщик за деньгами – и все безрезультатно. Наконец звонят ко мне от Свешникова, чтобы я приехал к нему лично в назначенный день к двенадцати часам за получением долга. Пришлось ехать. В доме у него пустынно и скучно, одни лишь картины придают особую свою жизнь большим комнатам.

Свешников встретил меня чрезвычайно любезно, повел в столовую. Там, за накрытым столом, уставленным закусками и винами, сидела у чайного прибора его супруга с шалью на плечах и еще незнакомый старик, с внешностью, противоположной Свешникову: он был плотный и сытый, коротко стриженный и бритый, как актер. Свешников представил меня своей жене и

познакомил с гостем, назвав его по имени и отчеству Филармоном Филармоновичем.

– Такого имени как Филармон, – говорю я, – кажется, не существует.

Гость рассмеялся:

– А вот аз есмь раб такой – Филармон, и вся Таганка этак меня величает.

Свешников добавил:

– Удивляетесь? Поймете, в чем дело, когда он про себя расскажет.

Филармон Филармонович его перебил:

– Ты, Иван Петрович, сперва напои, накорми да и в баню своди, а тогда и вели рассказывать. У нас вот так-то!

– В чем же дело? – засуетился Свешников. – Прошу покорно!

Филармон зазвенел графинчиком, рюмками и умело начал распоряжаться всем, что было на столе. Супруга Свешникова степенно разливала чаи и молчала, точно набрала в рот воды.

– Вот мы частенько так-то соберемся, два старых дурака, и беседуем об умных делах, – говорил Свешников, – а чего недопоймем, у других спросим – пожалуй, к смерти и подучимся.

Разговор пошел об искусстве:

– Например, скажу о картинах. Любил это дело сыздавна, а наиболее помог мне Павел Михайлович Третьяков о них суждение иметь, пелену с глаз моих снял и сделал меня зрячим.

Филармон быстренько-быстренько справлялся с ветчиной и на нас ворчал:

– Не пьете? И без вас сам себе здоровье нагуляю и вам того же пожелаю, – и опрокидывал рюмочки.

Он производил странное впечатление: на вид казался не то лордом английским, не то актером из комедии, а когда не смотришь на него и только слышишь его речь – чувствуешь, что говорит настоящий московский купец старого закала, хотя и вовлеченный в новые переживания.

– Ну, как же это он у тебя пелену снял? – спрашивал Филармон.

– А вот как, – рассказывал Свешников. – Захожу раз по делу к Павлу Михайловичу в понедельник, а он по этим дням, когда публику не пускают в его галерею, сам ее обходит. Иду и я в галерею, вижу: стоит Третьяков, скрестив руки, и от картины взора не отрывает. «Что ты, – спрашиваю, – Павел Михайлович, здесь делаешь?» – «Молюсь», – говорит. – «Как так? без образов и крестного знамения?» – «Художник, – отвечает Третьяков, – открыл мне великую тайну природы и души человеческой, и я благоговею перед созданием гения». Вот как сейчас слышу эти его

слова. И стал он мне разъяснять и указывать на суть дела. Умный человек был и с умными дружбу вел. И вот стала спадать пелена с глаз моих, и то, о чем я смутно догадывался, теперь в картинах яснее увидел. Все стало родственно и дорого мне. Поверите ли: с портретами сдружился и с ними беседовал. Посмотрю в глаза иного портрета и уже понимаю то, о чем думает этот человек. Прихожу в другой раз, киваю ему головой, как знакомому, он мне глазами улыбается. С великими мужами молча беседовал. Хотел свою галерею строить, да передумал.

– Пожалел капиталец затратить, – вставил Филармон.

У Свешникова запрыгала левая щека.

– Не то, что денег стало жаль, а как увидел, что Третьякова не осилить, забрал он уже самое лучшее, да и понятия больше имеет. Так я решил лучше в его монастырь ходить и там молиться, а у себя по малости вешать, для услады.

Филармон дразнил Свешникова:

– Так-то подешевле! Уж признайся: с единым расставаться трудно стало?

Я понял, что под «единым» он подразумевал миллион.

У Свешникова еще сильнее задрожала щека.

– И единым не укроешь! Гляди: вот на стене, кажись, не густо, а посчитай, чего стоит! Тебе хорошо, дешево отделываешься, купил пару абонементов в театр да на концерты – и баста, а дома музыкантов и певцов только ужином угощаешь.

Супруга Свешникова безмолвно перетирала стаканы и разливала чай.

– Посмотрите на него, – продолжал Свешников. – Был настоящим московским купцом, благообразие имел, а теперь бороду соскоблил, голову под машинку пустил, и неизвестно, в каких ролях на старости актером ходит.

– Нет, вы лучше скажите, как вы думаете насчет музыки? – неожиданно задал мне вопрос Филармон.

– Что же, – говорю, – признаю и это искусство. Люблю музыку.

– То-то! А я вот раболепствую перед ней, и оттого имя мое Филармон.

– Он тоже из зараженных, только по другой линии, – говорит Свешников. – Пусть о себе подробно скажет. Жаль, что никто из писателей не подслушал, как он о себе повествует – что твой поэт! Особенно после рюмочки, – добавил с маленькой ехидцей Иван Петрович.

Я стал просить Филармона объяснить, почему его окрестили этим именем, и услышал такую длинную повесть из его жизни:

– Меня от крещения, – говорил он, – звали, собственно,

Парамоном Парамоновичем. Учился я, как видно, в одном с Иваном Петровичем университете – в лавке за чужим прилавком, а потом и свое дело завел. Фабричку и самоткацкое поставил, а на них и меня господь благословил. Не хвастаюсь, да и тужить грешно – на свой век хватит. Хоть прибыли на уме лежали, а душа тянулась и к чему-то другому. Когда в положение вошел – выбрали меня старостой церкви нашего прихода. Церковному делу усердствовал и любил колокольный звон. Бывало на пасху после обедни сам на колокольню выходил. Один колокол у нас Козлом звали, а самый большой Гурманом величался. На нем я стоял, а на меньших мои молодцы подручными работали. Как начнут переплетать на малых, затявкает Козел, а я раскачаю язык у Гурмана да как бухну на все сорок сороков! Батюшки мои! Колокольня ходуном заходит, голуби под облака вскинутся, а я, знай, Гурмана по бокам глажу! Гул, звон в ушах стоят и по всему свету разносятся, а в глазах так даже красные круги плавают. Эх, была сила перезвонная!

– Слышите, как поет? Соловей-разбойник – одно слово! – перебил Свешников, а супруга его сидела молча и неподвижно под турецкой шалью, как фарфоровая кукла.

– А то еще у меня приятель протодиаконом был от Успенского собора, – продолжал Филармон. – Голос – гром небесный! На свой престольный праздник – Флора и Лавра – як себе его залучал. Хоть и капризный был и дороговато стоило, но я не скупился. Перед обедней, не боясь греха, по обыкновению графинчик смирновки опрокинет, зернистой икоркой на горячих калачах позабавится – зато и уважит! Как дойдет на многолетии до православного христолюбивого воинства – душа замирает: неужто, думаешь, еще подымет? А он, знай, вверх забирает! На паникадиле стеклянные подвески дребезжат, свечи тухнут, а на клиросе певчие за животы хватаются, чтоб ему только в ноту попасть. На конце разразится так, что под сводами храма, кажется, ему кто-то другой откликается. Да, наслаждалась душа и звоном и голосом, а потом вдруг все и оборвалось.

– Что же, колокола полопались, или протодиакон с кругу спился? – задал вопрос Свешников.

– Ни колокола не полопались, и протодиакон долго еще на своей линии держался, а только душа моя на другое опрокинулась. А было вот как: умерла супружница моя, царство ей небесное, Марфа Степановна…

Филармон вздохнул, помянул печальное событие еще одной рюмочкой и продолжал:

– Что делать? Стали ее отпевать. У меня только что новый хор образовался, были в нем и такие, что в консерватории

учились. Как запели «плачу и рыдаю» – тихо да согласно – душа моя, казалось, от земли отделилась и вместе с Марфой Степановной на небесах витать стала. Высокие и низкие голоса в согласии по душе расстилались. Облегчение почувствовало мое скорбное сердце, и с той поры я тихое пение возлюбил!

Сперва церковное, а потом и в оперу стал заглядывать, куда меня племянник направил. И там сладкие минуты переживал, чужому горю слезу ронял и счастью чужому радовался. Свез меня было племянник и в оперетку, да, признаться, не понравилось. Девки на сцене повыше колен юбки подымают, а кавалеры кругом них вертятся.

– Не к лицу, – говорю ему, – московскому степенному купцу на глазах всех этому делу предаваться.

Не нравился мне уже и протодиакон. Вижу: орет он все одно и то же, а у колоколов только со стороны видал, как языки болтаются. Абонементы в оперу завел, на концерты ездил, кучеру по ночам покоя не давал.

Признаться – пленился музыкой, и за такое к ней пристрастие и прозвали меня Филармоном. Как где появлюсь – в банке ли, в трактире Арсентьича – все в один голос: «Честь имеем, Филармон Филармонович!»

Забыли, как и звать-то меня по-православному, а из-за этого чуть было грех большой со мной не случился. Извините, пожалуйста, вы, может быть, человек неверующий, а мы еще у себя на памяти бога держим.

Так вот, говеючи, подошел я причащаться. Раскрыл рот, а диакон возгласил: «Причащается раб божий Филармон!» Потом спохватился да как фыркнет! и батюшка от смеха животом затрясся, а я поперхнулся и чуть причастие не обронил. Вы как думаете, шутка это, что ли?

Перед уходом я напомнил Свешникову о его обещании уплатить художникам долг. Сразу левый глаз стал у него немилосердно мигать, рот перекосился, и запрыгала щека.

Он торопливо заговорил:

– Я пригласил вас, собственно, затем, чтобы вы не беспокоились. Сейчас, хоть зарежьте, уплатить не могу, а после троицына дня сам внесу на ваш товарищеский счет все денежки. Пока что поезжайте вы спокойненько к себе в деревеньку и отдохните до будущего нашего приятного свидания.

Из рядов интеллигенции, приобретавшей картины, выделялся своим постоянством некто Минин.

Ежегодно являлся он на выставку и отбирал вещей ровно на три тысячи. В картинах он разбирался, относился к ним со

вниманием и любовью и никогда не выколачивал у художника уступки. Бывал только в затруднении, когда сумма превышала три тысячи. Тогда художники сами шли ему навстречу и уступали в цене. Спрашиваю у Минина, почему он тратил такую определенную в год сумму, ни больше, ни меньше, как три тысячи?

Минин, смеясь, объясняет:

– Вы слышали о четырех братьях-разбойниках?

Я вспоминаю о сборнике арифметических задач, составленном четырьмя преподавателями, которых гимназисты прозвали разбойниками.

– Так вот, – говорит Минин, – один из четырех разбойников я и есть. Должно быть, много беды наделали мы своими задачами гимназистам, да и вам, художникам, вероятно, перепадало; так я, чтоб загладить свой грех перед вами, решил всю сумму, которую ежегодно получаю за учебник, тратить во спасение своей души. И я спокоен бываю, когда у меня не остается ни копейки от этих денег.

Аккуратнейший был человек и платил с таким видом, как будто действительно снимал с себя какую-то тяжесть.

«Интерес имею к Репинской картине, да только и хочица и колица аттаво, что дорого».

Так писал мне один из директоров огромного печатного Сытинского дела Михаил Тимофеевич Соловьев.

Он был выходцем из глуши и бедноты. Пристроился в литографию учеником, стал мастером и в конце концов заделался сам ее хозяином, пайщиком в книгоиздательстве и газете Сытина, имел несколько доходных домов в разных концах Москвы.

Отсутствие образования не мешало ему любить науку, признавать значение печати, что в то же время увязывалось у него с практическими целями, с доходностью. Особая хозяйственная сметка, тонкое чутье выгоды печатного дела вели его к расширению Сытинского предприятия, к постановке его на широкий полуамериканский лад. А как начиналось дело у самого Сытина – вспоминал художник-передвижник К. В. Лебедев, много работавший на сытинские издания, иллюстрируя русские исторические темы.

На Никольской улице была у Сытина небольшая книжная лавочка. Постом сюда собирались со всех концов России офени. Им на год давался в кредит товар: лубочные книжки и картинки. Все отпускалось без векселей и расписок, под простую запись, на слово. Через год офени возвращались и аккуратно расплачивались с Сытиным по тогдашнему времени крупными

для них суммами – триста – пятьсот рублей и больше. Сытин поил их чаем «до седьмого поту», получал с каждого сотни рублей и дарил плательщикам по пятнадцать копеек на баню. Одна удачная книжка или картинка давала прибыли тысячи рублей. От книжки «Милорда» и картинки «Три возраста» издательство Сытина дошло до «Великих Реформ», давших, как говорят, прибыли пятьдесят тысяч рублей, и к газете «Русское слово» с ее огромным для того времени тиражом.

Словом, дело коммерчески блестяще процветало. Соловьев сидел в кресле за большим директорским столом, принимая посетителей по делам издательства. К нему впускали для доклада мальчика, наряженного в особую форму со светлыми пуговицами. Посетителя Соловьев внимательно выслушивал и каждое слово, что называется, наматывал на ус. В его прищуренных, глубоких глазах чувствовалось «себе на уме». Он прекрасно разбирался в людях, в выгодах всякого дела и по каждому вопросу имел свое твердое мнение. Вероятно, мало делал промахов, а если что не удавалось ему, не мог простить себе ошибку и нещадно бранился.

При всей его простоте и необразованности у него было трезвое сознание необходимости искусства для народа. Он признавал живопись культурной силой, способной вместе с печатью проводить идеи определенного лагеря. И думается, не ради одного честолюбия задумал он устроить картинную галерею в глухом захолустье у себя на родине.

Он хотел поделиться с темным народом крупицами того, чем пользовался сам в кругах культурного общества. В понятных ему вещах он видел нечто свое, родное, близкое его сердцу и считал, что оно найдет отклик и в сердцах простых людей его родины.

– Это им надо, надо! – говорил Михаил Тимофеевич и глубоко, внутри себя, улыбался. Покупая картины, торговался:

– А так не пойдет, чтобы двести? – спрашивал у художника и ждал ответа с улыбкой, закрыв глаза. Редко добавлял и обычно оставался при своем предложении, которое у него, очевидно, было крепко продумано.

Упустил он однажды картину Репина, про которую писал, что она «колица». Сперва пожалел денег, а когда решил купить, картина уже была продана («Пушкин в лицее»). Досаде его не было конца. Плевался и бранил себя всячески. Досталось и его знакомым художникам:

– Вы, приятели, – кипел Соловьев, – не могли сказать мне по дружбе: бери, Михаил Тимофеев, бери! Вот теперь и прозевал! А как бы она пригодилась, да и не для одного меня.

Очевидно, он имел в виду посетителей своей будущей галереи. О своем намерении построить ее он не всем говорил.

Вся квартира Соловьева была заставлена картинами. На стенах не было уже свободного места, и картины стояли пачками на полу в ожидании своего времени, когда для них будет построено особое помещение. А Михаил Тимофеевич сидел за своим письменным столом и, сощурив глаза, с хитрой улыбкой обдумывал свой бюджет и возможность выкроить из него часть для галерейки на своей родине.

– Там это тоже, надо, надо!

Из догорающего дворянского класса одно время взлетел над горизонтом искусства искрометной ракетой новый меценат живописи, предводитель дворянства N-ской губернии Н. С треском поднявшись вверх, он взбрызнул оттуда на головы художников дождем из разноцветных кредиток и, хлопнув в туманном небе, рассыпался на мелкие звездочки, не оставив после себя никакого следа в сферах искусства. Трудно было понять, откуда появилось у него стремление к приобретению картин: от любви к искусству или от необычайной расточительности.

Этому человеку судьба, как из рога изобилия, сыпала свои милости в виде громадных наследств. У его родственников или родственников его жены были большие дома на самых бойких местах Москвы – на Лубянке и Тверской. Родственник умирал, наследник Н. продавал участок с домами на Лубянке и получал огромные деньги. Как только он проживал их, от другого умершего родственника доставалось еще большее наследство на миллионную сумму. И надо было обладать огромным, даром расточительности, чтобы в короткое время проживать такие деньги и оставаться в долгах.

Причем надо заметить, что Н. не был игроком, кутилой, не предавался никакому азарту. И не только посторонний человек, но и сам Н. на предложенный ему вопрос: куда девались эти огромные деньги – ответил бы: «И сам не знаю».

Зимой вы могли заметить в московских театрах и концертах в первых рядах партера или дорогих ложах маленькую сухую фигурку человека с длиннейшими витыми усами. Фигурка не сидела в антрактах на одном месте, а постоянное обегала ряды партера, ложи; наклонясь к важным дамам, целовала их ручки, весело смеялась, бежала дальше, шептала на ухо что-то мужчинам, от чего те улыбались. Усы фигурки развевались на быстром ходу и забавно шевелились при разговоре.

Это и был Н.

У него вся Москва была на особом учете. Графине З. надо было сделать визит или поздравление в концерте по случаю

помолвки ее дочери с князем К., у сановника П. он узнавал политические новости и по секрету делился ими со всеми своими знакомыми в театре; любителям веселых разговоров преподносил свеженький анекдот. Знал всех артистов и артисток, посылал им на сцену цветы и подарки, бывал в мастерских художников, узнавал, что они пишут, восторгался новыми произведениями и приобретал их, не считаясь со стоимостью. Делал заказы и покупал картины за глаза, лишь по одному названию в каталоге выставки. Весь путь свой он устилал деньгами, которым не вел счета и не знал, сколько у него их остается. Для этого был у него счетовод, который указывал ему конечные результаты прихода и расхода, когда они сводились к огромному дефициту.

Но Н. и тогда не прекращал своей деятельной расточительности. Приобретал и заказывал на слово, впадал в огромные долги, надеясь на судьбу, которая его так часто выручала. В его натуре было желание оказывать одним благодеяние, другим любезность, третьих поощрить; сделать так, чтобы вокруг него все были довольны, счастливы и от этого был бы доволен и он сам – тем более, что деньги давались ему без всякого с его стороны усилия и труда.

Мне пришлось устраивать передвижную выставку в городе N. В день открытия по выставке уже с утра бегал тогда еще не знакомый мне Н. Всем посетителям он объяснял картины, давал им оценки, рассказывал про передвижников. Наконец забежал в мою комнату и, едва отрекомендовавшись, заговорил со мной, как со старым знакомым:

– Благодарим, благодарим вас, передвижников, что заглянули, наконец, в наш город. Несите культуру, просвещайте хоть и тургеневские, но все еще медвежьи уголки. Я ваш старый друг и поклонник, но безнаказанно, выставку не оставлю. Нет, нет, батенька, как вам угодно, а одну вещь – «Кавказский пейзаж» Киселева – отсюда не выпущу, ограблю вас ограблю непременно, а с ним не расстанусь! Восхитительно! Сколько, бишь, картина стоит? И только-то? А впрочем, разве в искусстве есть определенные цены? И не все ли равно сколько?

Говорил Н. необычайно быстро, так, что усы не успевали, казалось, двигаться за его словами; морщился лоб, глаза щурились, и приветливейшая улыбка играла на его губах. Он пальцами перебирал пуговицы на моем пиджаке, касался локтей и с благодарностью жал руки.

– Нет-с, как вам угодно, а я не могу утерпеть, чтобы не послать телеграммы Алексею Алексеевичу Киселеву, – торопился он.

– Его звать Александр Александрович, – поправил я.

– Ну конечно же, Александр Александрович, а я, к стыду моему, уже и забыл! Так вот, разрешите, я здесь же напишу телеграмму.

Он взял перо, бумагу, сел на место и уже строчил:

«Срочно. Глубокоуважаемый Александр Александрович. Снежные вершины Вашего Кавказа не охладили моего горячего к Вам чувства. Ослепленный ими, я уже не вижу другого исхода, как повесить их на стене моего дома, а потому, с Вашего разрешения, оставляю картину за собой и надеюсь, что и в будущее время Вы осчастливите город и меня присылкою своих произведений вместе с достоуважаемой передвижной выставкой».

Выписал из каталога адрес и сейчас же нашел на выставке, с кем отослать на телеграф свою записку. Пробежав еще несколько раз по выставке, похлопав по плечу некоторых из публики и раскланявшись со знакомыми дамами, он снова зашел ко мне и быстро заговорил:

– Итак, уговор: сегодня вы обедаете у меня. Ни, ни! Не отговариваться! У нас этого не полагается! Я сделал визит выставке и вам, теперь очередь за вами, дорогой мой. Выставка закрывается в пять, мой кучер будет ожидать вас у подъезда. Не прощаюсь, ни, ни!

Действительно, при выходе с выставки я у подъезда услыхал, как, перебирая ногами, застучала о мостовую лошадь и дородный кучер прорычал: «Пожалуйте!» Делать было нечего, сел в пролетку. Пошли мелькать на быстром ходу присутственные места с колоннами и пилястрами, хибарки бедноты на окраине города, и мы выехали в поле.

– Куда же мы едем? – спросил я кучера.

– А прямо к барину. Приказано за полчаса доставить.

– Как за полчаса? Разве барин ваш не в городе живет?

– А почитай, что и в городе, верстов с десяток только отсюда и будет.

Вот тебе и почитай! Едем, значит, в деревню. Но деваться некуда, пришлось отдаться обстоятельствам и ждать, что будет дальше.

По сторонам жались убогие деревушки с немазаными избами под соломенными крышами, у пыльной дороги никли тощие, пыльные ветлы. Грачи, сбившись в большие стаи, с криком кружились и перелетали с прясел на прясла. Кое-где на одинокой осинке блистал уже червонным золотом дрожащий листок: кончалось лето, и в воздухе звенела нота приближающейся безысходной осенней тоски.

Мы въехали в лес; от старых дубов и берез пахнуло сыростью. Здесь стояла барская усадьба – настоящее дворянское гнездо.

Правда, дом был не особенно старый и не в стиле излюбленного дворянами ампира; он был деревянный, в два этажа, без колонн и фронтона, но весь жизненный уклад его, как оказалось, был типично помещичьим, в нем царил еще феодальный кодекс и витал аромат крепостного права.

Радушию хозяина не было границ. Представив меня своей семье, он сейчас же засуетился, составляя план проведения предобеденного времени. Н. хвастал, что у него каждый час рационально используется, что он, как американец, не допускает прогулов (не замечая того, что вся его жизнь представляла сплошной прогул). Сейчас, по его предложению, всем следовало совершить маленькую прогулку по усадьбе, как он выражался, для нагула аппетита. При этом он хотел также ознакомить меня со своим хозяйством.

В передней стояла целая коллекция палок и тросточек для гулянья. Каждый выбирал себе по руке, и все шли на прогулку. Около дома был теннис, дальше располагались дворовые службы, отсюда тропинки по лесу вели на скотный двор, птичник, пчельник и в открытое поле, где сеялись зерновые культуры и сейчас обмолачивался хлеб. Хозяин показывал насаженный им лес из новых для этой местности лесных пород: пихты, кедра, каких-то особых елей. Он подарил мне написанную им тоненькую брошюру: «Опыт разведения сибирских лесных пород в черноземной полосе России».

Нам навстречу выходили люди, приставленные вести барское хозяйство, и докладывали барину и барыне о состоянии их участка. Хозяин-барин и к ним был милостив и приветлив. В награду за отличное состояние хозяйства барыня разрешала работницам целовать свою ручку.

Когда мы вернулись к обеду, я увидел на столе газеты: странно было видеть на заголовке 1900 год – казалось, здесь жизнь остановилась на целый век.

Обед был выдержан в аристократическом стиле, всего подавалось в умеренном количестве, сервировка была изящна, а блюда тонко приготовлены. После обеда все от чего-то отдыхали в качалках на широкой террасе, выходящей в сад; затем снова ходили на прогулку по лесу, на гумно, где молотили машиной хлеб, а вечером после легкого ужина предавались искусствам: декламировали стихи, играли на рояле и пели.

Когда я ложился спать в отведенной мне комнате, явился Н. и стал подробно рассказывать о себе, о том, как он любит сельскую тишину и после шумной городской жизни наслаждается жизнью помещика в деревне; сообщил, что его хотят выбрать предводителем дворянства, почему ему придется жить в городе,

где он купил уже дом и обставляет его мебелью и всем необходимым для широкой жизни, – а деньгами его под большие проценты ссужают в счет наследства, которое ему предстоит вскорости получить. Под конец рассказал о своих знакомых князьях К. какой-то новый анекдот, над которым долго сам смеялся.

С этого времени Н. ежедневно появлялся на выставке, возил меня осматривать его городской дом, советовался об обстановке и украшении дома картинами. Он захотел собрать целую галерею и уже купил у Поленова серию картин из цикла «Жизнь Христа».

В городе держал для себя отдельного повара и, понятно, извозчика-лихача, который должен был постоянно стоять у его подъезда и развозить всех его гостей. Конюшню свою он держал в деревне.

Так было в первый год, когда я его узнал и когда он еще только оформлял получение наследства. Но вот оно в виде огромной суммы перешло в полное его распоряжение, и тут распахнулись вовсю двери его доброжелательной помощи и расточительности. Он задает пиры, удивляет всех необыкновенной любезностью, щедротами, столичными вкусами, коллекцией художественных произведений и избирается, наконец, предводителем дворянства.

Его деятельность не ограничивается губернским городом, но разрастается и захватывает Москву и Петербург. И если в деревне он ходит пешком с палочкой по лесу, как рядовой помещик, а в губернском городе, в качестве предводителя дворянства, разъезжает на тройке с дородным кучером, то в Москве ведет себя, как истый вельможа. Проживает он с семьей в доме стиля грибоедовской эпохи. Здесь у него не простая прислуга и горничная, как в губернии, – здесь обслуживают и подают кушанья лакеи в перчатках и чуть не в придворных ливреях.

Из Москвы он переводил по телеграфу авансы на передвижную выставку в Петербург и по телеграфу же оставлял за собой картины, о которых имел представление лишь по каталогу выставки. А потом, прибыв в Петербург, объезжал мастерские художников и покупал чуть ли не все, что попадало ему на глаза.

Во второй приезд в город N. с выставкой я застал Н. в зените его славы. Он значился первой персоной в городе не только как предводитель дворянства и богатый человек, но и как законодатель столичных мод и вкусов, проводник художественной культуры, хотя бы во внешних ее проявлениях. Его дом полон художественных произведений, на стенах в золоченых рамах дорогие картины, которые с почтительным удивлением рассматривают после парадных обедов захолустные

дворяне. Некоторые из них смотрят на картины в кулак, приговаривая:

– Смотрите, смотрите, как все отделяется!

В угоду хозяину превозносят картины, приписывают им небывалую стоимость, но скоро, устав от осмотра, зевают, идут в биллиардную или садятся за карты.

Тогда картины остаются одни и замыкаются в свой особый мир с недоуменным вопросом: зачем мы здесь, и нужны ли мы кому-нибудь?

Получил я однажды от Н. записку:

«Сегодня я не мог быть у вас на выставке, у меня важное событие, и вы должны быть у меня непременно. Кроме того, получил из Петербурга новую партию картин и фарфора. О них молчу – увидите».

Пришлось ехать к нему в деревню.

По обыкновению Н. встретил меня у подъезда и, шевеля развевающимися усами, заговорил быстро:

– То, что у меня происходит, не может уже повториться больше в этом году, но не пугайтесь очень, сегодня, говоря попросту, справляем именины моей жены, – и, довольный оборотом своей речи, расхохотался.

Гостями были, очевидно, самые близкие Н. люди из местного важного круга.

Один важный петербургский чиновник, проживавший летом поблизости, рассказывал Н. новости из придворной и аристократической жизни. Н. многозначительно подмигивал гостю, давал понять, что ему известны имена персон, которые опускал рассказчик.

Особым вниманием хозяев пользовалась семья князя К., приехавшая довольно издалека: княгиня с тремя дочерьми-девицами и сыном-лицеистом. Лицеист был в шляпе-треуголке и при шпаге. Княгиня называла своих детей «мои милые башибузуки! (mes chers bashi-bouzoucks), а старшую дочь особо: «мой прелестный декаданс» (ma charmant Decadence). «Башибузуки» с детьми Н. – двумя дочерьми и сыном-гимназистом – затевали разные игры, а «декаданс» бродила в одиночестве, на все глядела иронически и что-то бормотала себе под нос – похоже, сочиняла стихи.

Перед обедом, как всегда, ходили гулять. Н. похвастал новым сооружением. За усадьбой находился большой овраг, по дну которого протекал небольшой ручей. Н. решил овраг превратить в огромный пруд для катания на лодках, пригласил гидротехника, и тот соорудил высочайшую плотину из тесаных камней на цементе. Плотина имела механизм для спуска воды и стоила

больших денег. Камень, цемент и железо подняли воду на большую высоту и заставили ее качать на своем лоне беленькие лодочки для водного спорта. Пруд отделял имение Н. с усадьбой, лесом и полем от тощей землицы соседней захудалой деревушки; оттуда доносился порой стук цепов, вымолачивавших рожь, а из-за пригорка выползала иногда тощая лошаденка с пахарем за сохой.

После обеда, когда все отдыхали на террасе, пришли два крестьянина из соседней деревни поздравить барыню с днем ангела и поблагодарить за пожертвованные ею в этот день деньги на постройку церкви. Один из крестьян был низкого роста, русый, с вьющимися волосами и пробором посредине головы, с лопатистой бородой; другой высокий, черный, в высокой поярковой шляпе, борода узкая, длинная.

Речь держал сладеньким голосом русый. Он говорил, что у них с церковью произошла приостановка посредством недостатка. Н. утешал его:

– Ты, Еремей, не беспокойся: если чего не хватит, барыня поможет, а тебя выберем ктитором, и будешь ты господу свечи ставить да лампады зажигать.

Будущий ктитор елейно улыбался и моргал глазами. Черный угрюмо молчал, хотя и ему барин обещал, что он будет старостой на селе.

Потоптавшись на месте, крестьяне собрались было уходить, но Н. задержал их, позвал дочь и сказал ей, чтоб она угостила крестьян.

Девочка убежала и принесла на тарелке два пирожных.

Крестьяне взяли их с большой осторожностью, зачем-то подули на них, всунули куски целиком в рот, посмотрели друг на друга и разом проглотили. Н. говорил мне про них:

– Посмотрите, какая это действительно святая простота. Они всем довольны, ничего не желают и ничего для себя не требуют, разве только для господа бога… Это истинные святые славянские души. Их ничем обидеть невозможно, у них нет чувства обиды. Недавно здесь земский начальник убеждал Еремея выйти на отруб. Еремей не соглашался, тогда земский, рассердившись, выплеснул полстакана недопитого чаю с вареньем в бороду Еремея. И что вы думаете? Тот только усмехнулся, облизываясь. «Чему ты, дурак, радуешься? – говорил земский. Еремей отвечает: «Да хоть бы ты, барин, еще плеснул, уж дюже сладкое». Ну разве не прелесть это? Не всепрощающая русская душа?

Крестьяне, уходя домой, остановились около тенниса, где играла молодежь. Я проходил неподалеку и услыхал такой их разговор:

– Шибко сигают, – сказал будущий ктитор.

– Кто чем занимается, – ответил кандидат в сельские старосты.

– А я бы вон той, барской дочке, поднял хвост да энтой лопаткой да по… – сказал ктитор и оборвал слово, увидев меня. Рот его перестроился в елейную улыбку, и он быстро засеменил ногами по аллее сада. За ним угрюмо шагал в высокой рыжей шляпе будущий староста.

После ужина составился артистический вечер: музыка, пение, декламация. Выступали «милые башибузуки» – княжны, и старшая из них, «прелестный декаданс», с импровизацией стихов. Заложив руки за спину и покачиваясь из стороны в сторону, она начала нараспев:

– На плевле левла ивла тлела…

– Это что же значить? – спрашивали у княгини.

– Ах, это так, пока еще дурачество, – отвечала княгиня, – она импровизирует в этих созвучиях.

«Декаданс», закрыв глаза и проведя рукой по лицу, перешла на другие созвучия:

– Дзи скользи висли мысли…

После импровизации в разных созвучиях она стала отвергать мелодию и гармонию в музыке, села за рояль и на ужасных диссонансах начала передавать «запах разбитого зеркала».

Я ушел бродить по саду и дошел до пруда. Сюда долетели из освещенного барского дома звуки рояли и пение, а на другом берегу пруда тоже кто-то пел. Это был пастух, дурачок Федя. Он сидел у самой воды, болтая в ней палкой. Поднялся ущербленный нелепый месяц, и его отражение трепалось разорванными обрезками золота у ног Феди, а тот все пел…

Прошло два года. Мне пожаловался Поленов:

– Что мне делать с Н.? Взял у меня несколько картин, а денег не платит.

И действительно: Н. прекратил платежи, задолжав не одному только Поленову. Выкачав из банков все свои средства, он подписывал уже векселя.

Я встретил его в трамвае, ехать в котором он раньше считал для себя унизительным. Он неумело продвигался по вагону, качаясь, хватался за ремни, но не мог удержаться и часто падал на колени сидящих пассажиров. Увидев, меня, он приблизился и поспешно заговорил вполголоса:

– И как в этом проклятом трамвае ездят! Я уже набил себе лоб о головы пассажиров. Приятности как мне, так и им от этого, конечно, мало. А потом вот еще о чем хотел я вас спросить: не знаете ли, кому можно продать некоторые не нужные мне

картины? У меня набралось их так много, что негде вешать. Удивительно, эти вещи так легко было купить и так затруднительно их продать. Но я не хотел бы оглашать свои продажи, подумают, что я обанкротился, а у меня просто временная заминка в средствах.

Было ясно, что обычная его заминка продлится до появления очередного наследства, а пока что приходится жить в кредит и изворачиваться на все способы.

Выходя из трамвая, он прыгнул назад и, сделав несколько оборотов с растопыренными руками, едва удержался на ногах.

Прошел еще год. Н. нигде не показывался в Москве; только зайдя однажды в книжный магазин, я увидел там знакомую спину в крылатке и с длинными завитками усы, шевелящиеся под низко надвинутой шляпой. Это был Н., о чем-то говоривший с приказчиком. Обернувшись, он сконфуженно обратился ко мне:

– Скажите, пожалуйста! Предлагаю им свою брошюру – «Опыт разведения сибирских лесных пород в черноземной полосе России» – и с большой скидкой, а мне говорят, что они не найдут покупателя и останутся с макулатурой в магазине. Что же, может, и я уже макулатура? Лицо его сжалось по-детски горестно, и усы опустились вниз.

Картина, проникая в быт буржуазного общества, постепенно теряет свое просветительно-назидательное значение, которое вкладывали в нее передвижники, и начинает угождать вкусам своих владельцев. Она все более и более играет роль украшающего элемента и котируется на рынке как предмет, имеющий определенную ценность, на котором можно при случае спекулировать. Разный торгующий люд превращает картину в товар, покупая произведения известных авторов и перепродавая их с выгодой.

В последние перед революцией годы появился в Петрограде купец, торговавший граммофонами. В живописи он увидел базу для спекуляции. Он стал менять граммофоны на картины художников в надежде перепродать картины с выгодой в России или за границей (он имел связи с коммерсантами – представителями заграничных граммофонных фирм). Граммофонщик (так звали его художники) владел, как видно, значительным состоянием.

Бегала по выставке, оглядываясь по сторонам, юркая фигура. Извивающиеся движения, быстрые повороты, заискивающее выражение лица с просьбой к художникам – об уступках – все рисовало его как спекулянта.

И действительно, он смотрел на картины, как на выгодный

товар, который можно перепродать по значительно повышенной цене. Он подслушивал на выставке разговоры зрителей, определял таким образом ходкость картин на рынке и старался поскорее купить вещь, пользующуюся наибольшим вниманием публики. Особо дорогих произведений не приобретал, чтобы при неудаче, в случае, если картину не удастся перепродать, не сделать мертвым вложенный в нее капитал. Старался вносить поменьше задатка, чтобы в случае промаха в выборе можно было бы и отказаться от картины с наименьшим убытком. Его фигурка казалась маленькой, незначительной, и думалось, что и дело он ведет малое, сколачивая жалкие гроши. Однако, когда он зазвал меня к себе, чтобы показать новое свое приобретение – картину Рубенса, я удивился, что в Москве существует такой размах художественной спекуляции.

Г. снимал целый этаж большого дома на Тверской. Комнаты и залы были заставлены столами с фарфором, стены были увешаны картинами и этюдами. Г. чистосердечно рассказывал, как он скупал весь этот художественный товар, за сколько продавал или надеется продать.

Много было у него старинных вещей, но все они являлись копиями и ловкими подделками. Кому что нужно: если старообрядцу нужна была старая икона древнего письма, он здесь находил такую. Доказательства были очевидные: старая, полуистлевшая доска, близкие к оригиналам краски, растрескавшаяся поверхность иконы. Покупатель не знал только, что доска действительно взята от старой, не представлявшей ценности иконы, поверх которой опытные мастера этого дела написали копию старинного образа, ценимого старообрядцами. На краски наносились трещины, образ заливался олифой, ему придавался вид глубокой древности. Так же делались и старинные картины под Боровиковского, Левицкого и кого хотите. Вещи, выдаваемые за работы этих мастеров, были чрезвычайно слабыми, но Г. уверял, что если и есть в них недочеты, то они присущи ранним работам этих мастеров, которые редки и потому представляют большую ценность. В большом количестве изготовлялись морские виды Айвазовского, никогда не видавшие кисти этого мастера. Айвазовский был любых размеров и различных цен.

Эта фабрика подделок производила удручающее впечатление. Пейзажики под Шишкина, Левитана, моря под Айвазовского, черные портреты – и среди всего циничного собрания быстро вертелся, мигая веками маленьких глаз, дирижер хора фальшивок – хозяин-спекулянт. Перед некоторыми вещами он потирал руки, как бы предвкушая грядущий барыш.

Покупателей Г. находил каким-то путем среди приезжей публики, которая легче поддавалась обману, чем москвичи (те видели оригиналы и могли обратиться за справкой к сведущим людям). Часто попадали в ловушку иностранцы, желавшие вывезти из Москвы произведения русских художников или великих европейских мастеров.

Г. провел меня в небольшую слабо освещенную комнату, где стояла большая картина, изображавшая полулежащую обнаженную женщину на фоне классического пейзажа. «Какова-с? Запродал американцу за двадцать тысяч! Доподлинный Рубенс!» – притворно восторгался Г.

Когда я сказал, что для Рубенса эта вещь слаба, Г. быстро замигал глазами, закрутил головой и стал показывать подпись и обратную сторону старого холста. Действительно, все напоминало старое произведение, даже подрамок был сделан из старого, пожелтевшего дерева, а трещины на лаке картины, загрязненные как бы от времени, переданы были в совершенстве. Сама живопись, если и не рубенсовская, то все же обнаруживала умелого живописца, способного и на подделку. «Да, да! – вертя головой и глядя в сторону, говорил Г. – Трудно доказать противное».

Вдруг он остановился и насторожился: в зале раздался звонок телефона. Г. подбежал, схватил трубку и застыл, слушая. По лицу его пробежали волны тревоги, и я услышал такой разговор:

– Что? Ах, это вы? Ну так что же?.. Как?.. так и сказал, что сомневается? Что не Рубенс?.. А вы что же дремали? Да вы поймите, чем дело пахнет… Вы потеряете свои две тысячи, а я все восемнадцать. Ах, боже мой, что вы наделали? Никак невозможно?.. Это, наконец, бессовестно!.. Я ему доверял, как честному американцу, почти без задатка, за сто рублей, а он отказался! Ай, ай! да как же мне быть?.. После этого никому, значит, верить нельзя? Подлецы!..

Он схватился за голову и… о ужас! я вижу, что он сам изменился до неузнаваемости. Голова как бы раскололась надвое: рыжая шевелюра съехала назад, спереди выступил голый синий череп… Не простившись, я, как в кошмаре, выбежал на улицу и здесь только сообразил, в чем дело. Очевидно, с головы взбешенного Г. сполз рыжий парик, которым он, как говорили мне раньше товарищи, прикрывал совершенно лысый череп. Он и сам был поддельный.

Одно время среди старых передвижников явилась мысль более приблизить искусство к среде рабочего класса и крестьянства, направить выставку картин в фабрично-заводские

районы и в деревни, на базары и ярмарки, где скопляется крестьянская масса. Главным инициатором этого дела, вполне отвечающего задачам передвижничества, был Мясоедов. Только осуществить его идею и довести ее до конца Товариществу не удалось.

По указаниям Мясоедова для народной выставки были написаны повторения прежних картин передвижников, все одинакового размера и в несколько украшенном виде, более доступном, как полагали художники, для народа. Главное внимание уделено было содержанию картины; мастерство, техника, чисто живописные задачи считались здесь излишними. Рабочему классу и крестьянству преподносилось как бы второсортное искусство с устаревшими уже тенденциями.

В этом, как показал опыт, и заключалась ошибка стариков, утративших былую связь с широкими народными массами и не чующих духовных запросов этих масс.

Выставку сперва направили в рабочие районы Петербурга, и здесь она потерпела полное фиаско. Рабочие со школьной скамьи, когда их водили на передвижные выставки и в музеи, уже в достаточной степени воспитали свое художественное чувство, и у них появились большие требования к искусству; то, что предложили им передвижники на своей «народной» выставке, их не удовлетворило. Рабочий класс оказался способным переваривать такую же художественную пищу, как и буржуазия, и на «мякину от искусства» не пошел. Посетителей на выставке было ничтожно мало. Послали выставку в Саратов, но и там она никого не удовлетворила, а в крестьянство уже не поехала. В успехе ее разуверились. К тому же передвижение по грунтовым дорогам, устройство особого шатра, содержание служащих при выставке требовали больших затрат от Товарищества, которое для этого не имело средств.

Художественный рынок все больше и больше переполнялся картинами. Только большие мастера могли существовать за счет продажи своих картин на выставках. Подавляющее большинство картин не находило покупателей, и талантливые молодые художники, не отвечающие вкусам широкой буржуазной публики, получали с выставок свои произведения обратно.

Даже талант лишь с большим трудом завоевывал признание общества. Наконец, художник приобретал известность, картины его начинали продаваться. По закрытии выставки рабочие, завернув картины в покрывала, как в саваны, относили их к коллекционерам или случайным покупателям.

Свой труд, свои поистине выстраданные произведения, часть своего «я», свое детище художник переводил на деньги и в

большинстве случаев, утеряв следы своих работ, никогда потом не мог их даже увидеть.

И такому человеку завидовали и называли его счастливым…

Примечания

Нечаев-Мальцев Юрий Степанович (1834–1913) – гофмейстер императорского двора, помещик и промышленник, был вице-председателем Общества поощрения художеств (председателем была принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская).

Третьяков Павел Михайлович (1832–1898) – выдающийся художественный деятель, тесно связанный с демократическим направлением русского искусства. Создатель картинной галереи – сокровищницы русского искусства. Купец и промышленник, Третьяков испытал влияние просветительных идей середины XIX в., что определило характер его деятельности по собиранию памятников отечественной художественной культуры. Начав с 50-х гг. приобретать картины, преимущественное внимание уделял произведениям передовых художников-реалистов, особенно передвижников, благодаря чему лучшие их работы сосредоточены в галерее. Свою деятельность по созданию галереи Третьяков справедливо рассматривал как дело большой национальной важности и с самого начала предназначал свои коллекции для народа. В 1892 г. он передал галерею (вместе с художественным собранием брата, С. М. Третьякова) в дар городу Москве. При национализации галереи в 1918 г. Советское правительство сохранило за ней название «Третьяковской».

Боткин Дмитрий Петрович (1829–1889) – участник товарищества чайной торговли. Был председателем Московского общества любителей художеств. С конца 50-х гг. собирал преимущественно картины иностранных художников и частично русских мастеров (А. Иванова, Перова, Харламова и др.). Собрание, существовавшее как «Частная картинная галерея Боткина», перешло к сыну его П. Д. Боткину. Коллекционированием произведений изобразительного искусства занимался также другой член этой семьи, Сергей Сергеевич Боткин (1859–1910), профессор Военно-медицинской академии, муж дочери П. М. Третьякова – Александры Павловны. Жил в Петербурге. Собирал рисунки и акварели русских художников; его собрание поступило после 1917 г. в Государственный Русский музей.

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818–1901) – крупный московский финансовый и коммерческий деятель. Коллекционер и книгоиздатель. С 1895 г. состоял действительным членом

Академии художеств. Начиная с 40-х гг. прошлого века собирал живопись и скульптуру русской школы. Его обширное собрание произведений искусства перешло в Румянцевский музей и вместе с коллекциями последнего после революции – в Государственную Третьяковскую галерею.

Цветков Иван Евмениевич (1845–1917) – банковский деятель. Коллекционер. Собирал произведения русских художников XVIII–XX вв., главным образом рисунки. В 1909 г. передал свою художественную галерею в дар городу Москве, после революции она вошла в состав Государственной Третьяковской галереи. Цветков был членом Совета Третьяковской галереи, почетным членом Московского общества любителей художеств; с 1903 г. – действительный член Академии художеств.

Морозовы – Иван Абрамович и его брат Михаил Абрамович – владельцы текстильных фабрик, коллекционеры картин. Первоначально приобретали работы русских художников, с начала 1900-х гг. – произведения нового западноевропейского искусства, главным образом французского. Собрание М. А. Морозова было принесено им в 1910 г. в дар Третьяковской галерее; после революции собрание И. А. Морозова вместе с собранием С. И. Щукина послужило основой для организации Музея нового западного искусства, коллекции которого впоследствии были переданы Государственному Эрмитажу в Ленинграде и Музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Свешников Иван Петрович – директор торгово-промышленного товарищества «Петра Свешникова сыновья» – оптовой и розничной торговли мехами в Москве на Тверской улице. Коллекционер. Его собрание картин русских художников по завещанию поступило в московский Румянцевский музей.

Минин – вероятно, Виктор Петрович – один из составителей широко распространенных в дореволюционной средней школе сборников задач по математике.

Вопрос о «народных выставках» далеко не полно и не точно освещен Я. Д. Минченковым. В действительности передвижные народные выставки были осуществлены Товариществом и в 1904–1911 гг. с успехом демонстрировались в различных городах, деревнях и селах страны.